

*А.В.Гордон,
доктор исторических наук,
ИНИОН РАН*

Этический максимализм русского пути

Проблема национальной идентичности стоит перед каждым поколением, и в ее определении выражают себя культурные доминанты соответствующей эпохи. В эпоху Просвещения российская идентичность рассматривалась с позиций универсального Разума, при созидании колониальных империй возобладали апофеоз мировой державы, XX век стал кульминацией формационно-классовых подходов, рубеж тысячелетий придал новую жизнь категориям всеобъемлющей "русской цивилизации". Тем не менее на каждом из этих этапов можно выделить некоторые общие черты: экстаз в отстаивании национальной идентичности, которая уже в просвещенный "век Екатерины" приобре-

ла очертания "особого пути", и апелляция в его обосновании к "высшим началам", которые преимущественно выступали вечными нравственными ценностями.

Здесь кроется одна закономерность, которая может быть интересна для нашего симпозиума, так как в какой-то мере проливает свет на отмеченный в докладе В.В.Журавлева максимализм российских реформ. Очевидно, что едва ли не каждое значительное преобразование национального бытия поднимало волну интроспекции, сопровождалось в той или иной фразеологии вопрошанием "кто мы?". Разумеется, это не могло не привносить в дискуссию упомянутую истоность и этический максимализм. Хотя реформы становились ответом на насущные потребности общественного развития, в их идеологии всегда оказывалось что-то от "высших начал", а это оборачивалось радикализмом установок и крайностями в их осуществлении, превращавшими великие реформы в "великие потрясения".

Уже те преобразования, которые стали архетипом всех российских реформ, ярко выявили указанную закономерность. Реальная историческая задача воссоздания российской государственности на регулярных началах в своей реализации уподобилась второму Крещению Руси, на этот раз волевым обращением в новоевропейскую культуру. Ответом на Петровские преобразования явилось обращение к нравственным добродетелям предков (в универсальном наборе добродушия, честности, бескорыстности и т.п.) и воспевание гармонии их государственного бытия. "Славянофилам" уже вполне удалось разработать отечественный вариант известной формулы модернизации, совмещающей "восточную этику" с "западной техникой". Отныне была установлена исключительно высокая планка для каких-либо преобразований — они должны были соответствовать потусторонним "высшим началам".

Восприятие национального развития сквозь призму "высших начал" в немалой степени объясняется особенностями просвещенной элиты страны. Уже в начале XIX в. она обосновала свое право решать загодя, вынашивая "в идее" то, что народу предстояло затем воплощать в жизни, и поэтому нередко воспринимала обретенный уровень самосознания в качестве критерия национального бытия. Детище культуртрегерской деятельности государственной власти эта элита неизменно болезненно ощущала свою зависимость, и сама логика самоутверждения подталкивала ее к выдвиганию амбициозных проектов, которые предлагались власти от имени Разума, Общества, Народа.

Естественно, генетические особенности культурной элиты накладывали отпечаток на содержание проектов. Занятая на государственной службе элита усвоила совершенно определенный, "потребительский" взгляд на торгово-промышленную деятельность как на нечто "технически" необходимое, но заведомо подчиненное, подлежащее строгой "этической" регламентации. Второстепенность "тех-

ники" в проектах развития обуславливалась и другим "амплуа" российской элиты, ее восприятием себя как "интеллигенции", когорты интеллектуалов, мыслящего и духовного авангарда. Интеллектуальная деятельность, литературное и художественное творчество со времен Просвещения высоко ценились и оставались привилегированной сферой самореализации (помимо административной карьеры). Отставание приоритета духовной сферы и составляющих ее высших ценностей, вечных принципов, нравственных абсолютов было по существу обоснованием особой роли культурной элиты в русском обществе.

Другой плоскостью, где приходилось самоутверждаться русской культурной элите, было отношение к Западу. Сформировавшаяся в русле новоевропейской культуры, она всегда ощущала эту зависимость. Очаровываясь западными идеалами и возмущаясь их несоответствием западной же действительности, пленяясь достижениями "их" цивилизации и ища спасение от этого плена, национальная элита неизменно обращалась к извечной духовности. Таким образом, и в этой плоскости "высшие начала" оказывались прямой антитезой реальности в ее историческом развитии.

Ощущение отрыва мечты от действительности, высших побуждений от фактического состояния страны, духовных идеалов от материальных интересов не могло не порождать катастрофические настроения. То, что исторически возникло как ожидание всевозможных потрясений (можно вспомнить, что век формирования русской культурной элиты одновременно был временем дворцовых переворотов и "пугачевщины"), превратилось к концу следующего века в их предвкушение, которое в квазирелигиозном сознании принимало вполне апокалиптические формы.

Представление социальных и экономических сдвигов в образе приближающейся национальной (и вселенской) катастрофы придавало идеям развития специфически-сотериологический оттенок. То были проекты спасения, а их авторы и приверженцы претендовали на роль спасителей народа, общества, цивилизации, что не могло не иметь многообразных последствий.

Во-первых, реформаторы-спасители использовали, получали или присваивали себе особые властные функции. Российские реформы были немислимы без диктаторских полномочий их творцов. Во-вторых, носители идей общественного спасения привносили убеждение в возможности решать национальные задачи сходу, могучим рывком, усилием воли. Для этого усилия — подразумевалась ли победоносно-судьбоносная война, социальная революция или реформа в образе "революции сверху" — требовался мощный мобилизационный аппарат. Причем его создание и функционирование нередко превращалось в самоцель, оборачиваясь деформацией исходных задач, а то и сути реформ ("хотели, как лучше, получилось, как всегда").

В-третьих, программы развития, превращаясь в формулы спасения, оказывались предельно упрощенными, центральными становились вопросы распределения и перераспределения благ, а легитимным основанием для их решения являлись опять же извечные нравственные начала. Программные положения приспособлялись к популярным поучениям священных текстов, превращались в символ веры.

Апелляция к сакральному или сакрализованному авторитету, к тем или иным "высшим началам" неизбежно придавала реализации программ особо бескомпромиссный характер. Реформаторская деятельность становилась борьбой Добра и Зла. Противники мыслились врагами общественного спасения, врагами народа, нации или цивилизации (даже разногласия между соратниками делались вопросом жизни и смерти). Жесткость была востребована, любое рвение оправдано.

Напряженное переживание разлада между идеалами и действительностью породило классическую русскую литературу — одно из наивысших достижений национального гения. Вместе с тем обличение несоответствия действительности идеалам, усиленное воспитание нетерпимости к порокам оборачивались в политической области культивированием нетерпения к естественно-исторической эволюции и нетерпимости к инакомыслящим. Завышенные требования к нравственности насаждали двойную мораль, фанатизм мог граничить с цинизмом, идеал бескомпромиссного борца с несправедливостью переходил в культ сильной личности. Вместо "разборок" с национальной историей, отечественной интеллигенции пора заняться углубленным самоанализом и прежде всего, очевидно, произвести тщательную инвентаризацию своих добродетелей на предмет их соответствия новой реальности.